



Б. В. МАРКОВ

Знаки бытия

<Фрагменты>

Работы последнего времени, написанные представителями аналитической философии, все больше напоминают книги по этике. Кажется, что центральной проблемой логической семантики становятся проблемы искренности и доверия, вежливости и справедливости. Это обусловило и новый ренессанс «Трактата» Витгенштейна, который с самого начала, жалуясь на неправильное его восприятие, заявлял, что это книга по этике. Десять лет спустя в своей «Лекции по этике» он указал на несоединимость дискурсов науки и морали, но отметил, что с уважением относится к попыткам написать книгу по этике, хотя она и кажется ему опасной и «подобной взрыву бомбы», книгой, которая, будь она возможной, уничтожила бы все остальные книги. Судя по «Философским исследованиям», терпимость Витгенштейна распространяется и на другие «языковые игры», такие как религия и даже магия. В противоположность искателям «идеального языка», который бы «зацеплялся» за реальность (выражения которого имели бы прочные значения истинности), он считает, что ни один язык не обладает истинностным значением. В работе «О достоверности» очевидные высказывания обосновываются не как истинные, а как правилосообразные. Концепция «языков-игр» дополняется тезисом о том, что язык является «формой жизни».

Но что такое «жизнь» у Витгенштейна — идет ли речь о философии жизни, об экзистенции или о дильтеевском «переживании жизни как формы самой жизни», о хайдеггеровской «заботе» и «бытии к смерти» или же о «герменевтическом разговоре», который, по Гадамеру, является удачным соединением теории и жизненной практики? Конечно, понимание Витгенштейном жизненной практики формально не подходит ни под одно из перечисленных определений. С одной стороны, он понима-

ет ее чисто инструментально и даже пользуется выражением «дрессура», когда описывает научение языку. Взрослые ничего не доказывают маленьким детям, а действуют либо императивно, как «основоположники», либо говорят: *делай так, когда подрастешь, узнаешь почему*. С другой стороны, «основания» у взрослых функционируют не как обсуждаемые и принимаемые на научном форуме положения, а как ритуалы. Именно это и дает повод рассматривать сообщество ученых наподобие сообществ древних племен со своими обычаями. Таким образом, к витгенштейновскому пониманию «жизненных практик» наиболее близким кажется понятие дискурса Фуко, который понимает его в тесной связи с «дисциплинарными практиками» и объединяет с понятием «стратегии», которая обретает ключевое значение в методе деконструкции Деррида. Ответ на вопрос о том, как входит жизнь в аналитическую философию, предполагает долгое разбирательство возможностей перечисленных проектов. Думается, что аналитическая философия пытается дать свой ответ на вызов «жизни» и «человеческого». И этот ответ, при всех трудностях теории речевых актов определить значение высказываний об «интенциональных состояниях», которые так или иначе оказываются этическими, вполне сопоставим с ответами, даваемыми в русле герменевтики.

Конечно, аналитические философы не ставили прямой вопрос: «Что есть жизнь?». Скорее, этот вопрос вставал по мере того, как падала уверенность в универсальности «идеального языка», в основе которого лежал очищенный и формализованный язык науки. Изучение естественного языка поставило исследователя перед многообразием языковых игр и признанием их специфических правил, не связанных с поисками истины. Прежде всего встал вопрос о признании «человеческого», которое элиминируется в объективирующей установке. Не является ли жизнь тем общим, что связывает людей, языки которых задают несоизмеримые онтологии. Вряд ли такое допущение оправдано. Язык может определять и понимание жизни. Строго говоря, не только миры, но и формы жизни являются разными у носителей разных «языковых каркасов». Однако при всей «логичности» куайновского парадокса приходит мысль о том, что если мы способны признать несоизмеримость, то это уже шаг к пониманию другого. Стало быть, именно разговор между носителями разных культур, представителями разных национальных языков может стать основой их понимания. <...>

Истолкование явлений как знаковой действительности было предпринято в «Философских исследованиях» Л. Вит-

генштейна. Зрение моделируется там как знаковый процесс, и вопрос ставится не о эпистемологических условиях видения и не о причинах его, а об употреблении слова «видеть». Витгенштейн показывает, что это слово используется для указания на чувственную интерпретацию действительности и особо акцентирует проблематику изменения аспекта зрения. В примерах, где используются картинки гештальт-психологии, Витгенштейн интерпретирует зрительные образы как знаки, значение которых определяется правилами повседневной языковой игры. Поэтому рисунок, названный им «голова кролик-утка», на самом деле не воспринимается как правильный, ибо обычно кролик и утка различаются.

То, что называют отказом от эмпирической теории значения в «Философских исследованиях» Витгенштейна, было бы неверно понимать как переход на кантианскую позицию, согласно которой мы предписываем фактам априорные значения. Они действительно формируются на иной, неэмпирической основе, но она проявляет себя не как феномен в некоем опыте очевидности, а скорее как продукт опыта интеракции. Витгенштейн предпочитает говорить не об очевидности, а о достоверности принципов, управляющих построением значимых выражений. Он вводит понятие языковых игр, которое взамен единого, идеального и универсального языка допускает множество лингвистических практик, каждая из которых является вполне самостоятельной и чаще всего несоизмеримой с другими. При этом важно обратить внимание на два момента.

Во-первых, на своеобразие игр. Они могут совпадать по принципу «семейного сходства», и можно попробовать для их единого описания использовать модель «матрешки». Это годится, когда важна непрерывность и преемственность. Однако среди различных языковых игр могут встречаться и альтернативные. Таковы языки религиозных, научных, философских, идеологических доктрин. Конечно, можно и между ними искать единство, но оно окажется формальным и в конце концов приведет к тому, что Кант называл «дисциплинарными различиями», которые характерны, например, для науки и религии, права и морали. Разумеется, можно продвинуться еще дальше и попытаться выявить единые принципы их построения, например, как это интенсивно ищется сегодня в форме «этики дискурса» или «эпистемологии религиозных верований». При этом нельзя забывать и о принципиальных различиях между ними, чтобы избежать редукционизма. Поэтому наряду с поисками единства следует всячески поддерживать открытие разрывов и различий.

Во-вторых, следует отличать «языковую игру» от понятия игры в культурологии. Игры Витгенштейна условны, но очень серьезны и даже жестоки. Если правила становятся предметом обсуждения, то это ломает игру, и тот, кто их оспаривает, выбывает из игры. На самом деле нельзя освободиться от любой игры. Тот, кого бойкотируют за нарушение правил, попадает из одной игры в другую, более жесткую. Пожалуй, это лучше всех описал М. Фуко в своей теории дисциплинарных практик. Таким образом, игра у Витгенштейна — это не уход от реальности, а, наоборот, ее конструирование. Игра, прежде всего языковая, — это «форма жизни».

Что это значит? О какой жизни, о каком, точнее, понятии жизни идет речь? Существует теория, которая разрабатывает бихевиористский и интеракционистский подходы применительно к человеческому поведению. Ей противостоит духовное понимание, которое в форме герменевтики также претендует на универсальное истолкование жизни как человеческого присутствия в мире. Скорее всего, Витгенштейн был близок к культурно-антропологической парадигме и видел жизнь как процесс, организованный в соответствии с социальными и культурными нормами.

С философской точки зрения особенно важным является то, что нормы и правила языковой игры нельзя отождествлять с истинами, которые подлежат исследованию, проверке или доказательству. Напротив, они сопоставимы с догмами, которые принимаются без обсуждения. Процесс признания правил Витгенштейн называет «дрессурой» и ярко описывает ее разнообразные способы. Интересно сопоставить эти описания с теорией Кольберга, в которой выявляются разные стадии развития морального сознания. Витгенштейн был немногословен относительно смены правил и тем более развития языковых игр, но несомненно способствовал становлению эволюционного подхода в эпистемологии и в этике.

Правило раскрывается Витгенштейном не как конвенция, а как «институт». Этим ограничиваются возможности чисто символического воображения и конструирования. Фуко несомненно подхватил и развил социально-политический аспект концепции Витгенштейна в своей теории дисциплинарных пространств.

Понятие правила отсылает к понятию привычки (габитуса), которое разрабатывается в культурной антропологии и феноменологической социологии. Витгенштейн читал работы антропологов и, в частности, оставил критические заметки на книгу Д. Фрэзера «Золотая ветвь», в которых отмечал недопустимость сведения

первобытных верований к неким протоформам современного рационалистического мировоззрения. Позиция Витгенштейна к участникам различных языковых игр является весьма толерантной, что делает ее привлекательной в постмодернистскую эпоху, вежливую относительно чуждого.

Знак и понятие

В «Трактате» Витгенштейн развивал «образную» теорию языка, согласно которой язык «показывает» мир. Несомненно, тут чувствуется сходство с феноменологией. И действительно, хотя Витгенштейн опирается на методы логической семантики, он нетрадиционным образом решает проблему аналитически и логически истинных предложений, которые не имеют достаточного эмпирического подтверждения. Гуссерль считал такого рода высказывания очевидными, как бы подтверждающими самих себя и поэтому не требующих какого-то внешнего основания. Похоже, что и Витгенштейн склонен понимать их как самодостоверные. Такие предложения у него не являются содержательными утверждениями о мире, какими являются фактофиксирующие предложения, подтверждаемые наблюдениями. Они образуют логический каркас языка. Но в отличие от «формалистов», например Карнапа и Шлика, он полагал, что они «отражают» структуру мира. Язык обозначает, а не отражает мир. Говорить — значит придавать то или иное значение видимому. Но теория языка «логического эмпиризма» страдает неудовлетворительной, с точки зрения философского универсализма, двойственностью.

Значения эмпирических предложений задаются наблюдением. Они являются констатациями положений дел в самой действительности. Аналитические же высказывания выражают своеобразие самого языка. Как известно, Кант пытался преодолеть эту недопустимую с точки зрения классической философии двойственность своим предположением о том, что возможны априорные и в то же время синтетические суждения. Аналитическая философия решительно выступала против этого. Однако сегодня, когда универсализм стал утрачивать свою привлекательность, можно оценить программу «логических эмпиристов» как вполне корректную. Ее создатели пытались решить вопрос о соединении, переплетении, взаимодействии мира, который дан в телесном опыте, и языка, который является носителем значений, получаемых в процессе мышления. Последовательный эмпиризм, требующий эмпирического обоснования логических и других аналитически истинных высказываний,

и рационализм, настаивающий на самостоятельности мира значений, которые приписываются наблюдаемому, сталкиваются с большими затруднениями. Поэтому логическую семантику можно определить как работу с тканью познания, сплетенной из нитей языка и опыта. Обычно обращают внимание на то, что в ней допускаются принципиально разнородные предложения. Одни целиком определяются опытом, а другие — структурными правилами самого языка. «Трактат» написан в то время, когда выявление этого различия казалось более актуальным, чем его преодоление. Читать его полезно и сейчас, чтобы не пытаться искать легких путей решения.

Интеллектуальная эволюция Витгенштейна и других родоначальников «логического эмпиризма» (самоназвание, содержащее противоречие) во многом определялась осознанием резкого разрыва между опытом и логикой, миром и языком. В «Трактате» Витгенштейн даже говорит о «мистическом». Совпадение языка и мира представляется ему непостижимым. Во всяком случае язык не имеет средств для достижения этого. Отсюда «образная» теория языка содержит два момента. С одной стороны, атомарные предложения как бы прикреплены к элементарным фактам, а более сложные, «молекулярные» предложения выражают комплексные «положения дел». С другой стороны, признается самостоятельный статус логических высказываний, которые, как и другие аналитически истинные предложения, не выводятся из наблюдаемого. Конечно, между ними тоже есть соответствие, что и стимулировало поиски их эмпирического обоснования. Однако всегда остается сомнение, что мы сами приписываем миру свойства нашего языка, правила которого и выражают аналитические высказывания. В «Трактате» Витгенштейн говорит о соответствии картины мира и языкового каркаса — соответствии, которое хотя и не может быть доказано, однако является «мистически» видимым. Думается, что и позже Витгенштейн не отказался от своего мистического ощущения сходства каркаса языка и картины мира. Во всяком случае десять лет спустя в «Лекции об этике» он повторил этот ход относительно фактофиксирующих и «этических» (ценностных) высказываний. Как и логические, последние не выводимы из фактов, а, наоборот, предписываются им. Они опираются на разные основания, и поэтому их столкновение должно вызвать своеобразную аннигиляцию.

Следовать правилу

В «Философских исследованиях» Витгенштейн в основном критически оценивает свою раннюю концепцию значения, а также стремление построить «идеальный язык», снимающий неопределенность обыденной речи. Теперь он считает, что естественный язык в порядке и не нуждается ни в трансцендентальном обосновании, ни в аналитическом прояснении. Значение в нем контролируется практическим употреблением слов, включающим процесс научения говорящего и действующего субъекта и признание правильности его действий со стороны других людей.

Обсуждение и проникновение в суть Витгенштейнова понимания «правила» имеет отношение не только к пониманию формулы «Язык — это форма жизни», но и к выбору между «философией языка» и «философией знака». Критика языка вызвана тем, что с ним связывается представление о ментальных процессах «мышления», «понимания», «интерпретации» и т. п., которые как бы извне задают основания словам и предложениям. Решение проблем смысла и значения так или иначе ориентировано на нечто имеющееся вне языка. То, что Витгенштейн наиболее убедительно показал несостоятельность для решения проблемы значения таких допущений, можно использовать как аргументы в пользу «философии знака». Однако, как и в случае с понятием жизни, используемом в контексте выражения «Язык — это форма жизни», не следует спешить осовременивать Витгенштейна. Его собственные воззрения достаточно радикальны и все-таки не согласуются не только с духом и умонастроением своего времени (он полагал, что его идеи не будут восприняты научным сообществом), но и с нашим представлением о природе языка.

Главный пункт новой концепции значения как употребления основан на понятии «следование правилу». Это понятие действует и в математике, и в повседневной жизни. Правило может основываться на идее (истине), норме, обычае (веровании, традиции), навыке и умении, регулярности, тождественности, равенстве, единообразии и т. п. Таким образом, правило не является центральным понятием, а производно от онтологии, эпистемологии, социологии, экономики, психологии, культурантропологии и т. п. Т.е. само правило может быть интерпретировано и обосновано различными способами. Например, в математике правило связывается с объективными свойствами и законами чисел. Правило сложения одинаково для всех, независимо от своеобразия национальной культуры. Вызов Витгенштейна состоял в том, что он противопоставил ведущим теориям обоснования прави-

лосообразной деятельности (и прежде всего трансцендентальному идеализму и реализму) подход, основанный на приоритете правила. При этом правило «определяется» таким образом, что уже не отсылает к каким-либо иным понятиям. Витгенштейн в заключительных параграфах «Исследований» упоминает о «скальном грунте», в который упирается (и гнется) лопата искателя оснований, и предлагает отказаться от дальнейших «раскопок».

Загадка витгенштейновской концепции «следования правилу» таится в до сих пор считающихся спорными и неоднозначными словах о том, что кроме единообразного правила есть еще разнообразные способы его применения: «Наш парадокс был таким: ни один образ действий не мог бы определяться каким-то правилом, поскольку любой образ действий можно привести в соответствие с этим правилом. Ответом служило: если все можно привести в соответствие с данным правилом, то все может быть приведено в противоречие с этим правилом. Поэтому тут не было ни соответствия, ни противоречия. Мы здесь сталкиваемся с определенным непониманием... А это свидетельствует о том, что существует такое понимание правила, которое является не *интерпретацией*, а обнаруживается в том, что мы называем „следованием правилу” и „действием вопреки” правилу в реальных случаях его применения»¹.

С. Крипке реконструировал в своей работе так называемый «скептический аргумент» Витгенштейна². В нем оспаривается универсальность принятого правила сложения и вводится как вполне возможное правило-монстр, названное «квусом». Допустим, мы умеем считать только до 100, и сумма, превышающая это число, будет считаться равной пяти. Крипке считает, что парадокс Витгенштейна состоит в том, что математика оказывается социально обусловленной наукой.

Мы знаем, что $68 + 57 = 125$, но откуда мы знаем, что это правило будет выполняться в случаях, с которыми мы еще не сталкивались. Философия математики отсылает нас за ответом к размышлениям о сущности числа, о числовом ряде и универсальности правила сложения. Именно это добытое мыслью, интуицией или иными психическими актами знание является основой обучения в наших школах стандартным правилам арифметики. У Витгенштейна, согласно Крипке, получается наоборот.

¹ Витгенштейн Л. Философские исследования. 201 // Философские работы. М., 1994. Ч. 1.

² См. Kripke S. A. Wittgenstein on rules and private language. Cambridge, 1982.

Используя язык Фуко, можно сказать, что дисциплинарные практики, а не исследование определяют нашу уверенность. Крипке показывает, что ссылки на «сознание» предполагают то, что само нуждается в обосновании, и в этом он достаточно верно следует Витгенштейну. О диспозициях сознания мы судим на основании поведения. Витгенштейн, конечно, не отрицает психических процессов и внутреннего опыта, а лишь считает, что они не могут использоваться в качестве последних оснований поведения на основе «следования правилу», более того, ментальные состояния могут быть самыми разными — от переживания «очевидности» до мистического ощущения некой неведомой силы.

Ответ на вопрос о том, как правило определяет поведение, нельзя найти и в сфере «идеальных сущностей», «смыслов», «идей» и т. п. Мы разделяем понимание правила от его механического применения в результате заучивания. Особенно явно это выявлено в «Начале геометрии» Гуссерля.

Согласно Крипке, оригинальность витгенштейновского парадокса состоит в том, что нельзя однозначно определить значение слова и указать, как оно будет применяться в новых ситуациях. Более того, он считает, что Витгенштейн разрешил этот «ужасный и непереносимый» парадокс. В частности, он расценивает критику персонального языка Витгенштейна как попытку ответить на вопрос о том, как возможна языковая коммуникация. Если мы будем исходить из индивидуального субъекта, то никакие ссылки на «сознание», «смыслы» и «сущности» не объяснят следования правилу, например сложения. Ситуация меняется лишь в том случае, когда исходят из сообщества людей: другие люди знают условия, оправдывающие или не оправдывающие утверждение, что этот человек следует правилу: «Но это согласие не мнений, а форм жизни»³. Индивид, который действует не по правилам, изолируется от сообщества. Подобное описание языковой игры является новацией. Согласием людей решается то, что верно, а что неверно: «То, что следует принимать как данное нам, — можно сказать, *формы жизни*»⁴. Согласие людей (как форма жизни) требуется и в математике, которая является не только знанием, но и деятельностью. То, что мы все одинаково учим таблицу умножения, и есть ответ на вопрос об универсальности математики.

У многих исследователей такая прямолинейная интерпретация вызвала возражения. Действительно, Витгенштейн неоднократно

³ Ibid. P. 241.

⁴ Ibid. P. 314.

но говорил о том, что он вовсе не подвергает сомнению логику и математику (как, впрочем, он не отрицал и психологических, феноменологических, герменевтических интерпретаций). Более того, хотя он говорит о том, что правило — это институт, или, как он скажет позже, «форма жизни». Его интересует не столько «обоснование» правила, сколько ограничение самого намерения искать и находить основания во всем и для всего. Точнее, не само это намерение он опровергает, а лишь хочет сказать, что существует «правило» для поиска основания. Суть правила как регулярности и повторения — не в специфике культуры. В любой культуре и в любом социуме есть свои регулярности. Поэтому можно возразить Крипке, который видел основание правила в социуме. Однако «социум» Крипке и его критиков отличается от «идей» Платона и «сущностей» Аристотеля лишь своим названием, ибо сохраняет присущие им функции «основания». Задача Витгенштейна иная — указать на то, что правило не имеет основания, т. е. возможности стандартной процедуры обоснования на нем заканчиваются, инструмент теоретика упирается в скальный грунт и гнется. Другая задача Витгенштейна, наблюдавшего, а может быть, и переживавшего драму поиска оснований в математике, мне кажется, состояла в том, чтобы успокоить мыслителей типа Г. Фреге, которые испытывали глубокое беспокойство оттого, что сущность числа, этого центрального понятия математики как строгой науки, остается неопределенной.

Дискуссия вокруг полемической работы Крипке доказывает приверженность участников дискуссии стандартным представлениям об обосновании. Даже те, кто говорит, что правило «квус» встречается лишь в психиатрической лечебнице, не замечают, что не это обстоятельство раскрывает суть правила. Критики Крипке указывали на то, что, согласно его интерпретации, сообщество выступает критерием или, точнее, гарантом правила, и тогда исчезает возможность объективного знания.

Этот упрек надо продумать. Витгенштейн указывает, что следование правилу на основе общественного согласия не отбрасывает логику и математику, а, наоборот, служит ее обоснованию. Вместе с тем он показывает, что правило нельзя понимать на манер «смысла», существующего в некоем «третьем» мире. Тогда правила оказываются сами по себе совершенно бессильными и не имеют онтологической или эпистемологической гарантии. По Витгенштейну, правила принципиально неполны и нуждаются в поддержке практики, привычки. Такое обоснование не является ни трансцендентальным, ни прагматическим.

Согласно Крипке, показать именно на примере математики, что результаты сложения зависят не только от правил, но и от способов их применения, — в этом состоит значение «Философских исследований». Если перейти от «чистой математики» к традициям счета, принятым в обществе, то можно найти множество примеров того, что правила арифметики, сформулированные в аксиомах Д. Пеано, весьма своеобразно применяются на практике. В аксиомах Пеано вовсе не содержится вся арифметика. Витгенштейн не считал числа самостоятельными идеальными объектами, обладающими определенными свойствами и отношениями. Зная историю математики, также можно утверждать, что число понималось по-разному. Так, античным математикам наши операции с мнимыми и отрицательными числами показались бы абсурдными. Вместе с тем витгенштейновское понятие «следование правилу» не означает принятия тезисов релятивизма и несоизмеримости, которые стали камнем преткновения многих аналитических философов. Неопределенность правил, нетождественность их применений на практике, возможность нового их использования как раз и делает правило жизнеспособным. Очищенное и догматизированное, в виде формальной системы оно окажется лишь достоянием истории веры.

Следует снять возражение против Витгенштейна, что он допускает как согласованность, так и противоречивость правил. Согласно Тарскому, язык и двузначная логика образуют противоречивую систему, чреватую парадоксами, однако на практике мы не прибегаем к «идеальному языку», а просто не используем парадоксальных выражений. Сами парадоксы и противоречия являются специфической языковой игрой, направленной на осмысление правил.

Правило, по Витгенштейну, выступает продуктом дрессуры, тем не менее люди могут применять его по-разному. Метод обучения, основанный на принципе: «делай так...», «смотри как...», оказывается вариативным и предполагает индивидуальное применение. Именно практика определяет, какое «следование правилу» является правильным, а какое нет. Однако признание индивидуального применения правила проходит через общественное согласие. И тут есть доля риска, ибо сообщество может изолировать тех, кто чересчур вольно применяет правила. Но Витгенштейн не исследовал общество как фильтрующую и селективную инстанцию. Возможно, он полагал, что произвол применения правил исключается обществом на том основании, что приводит к угрозе выживания людей. Он как-то сказал, что вполне может быть арифметика, в которой $2 + 2 = 5$, но у нее будет другое применение.

Можно дополнить, как это делает З. А. Сокулер⁵, его аргументацию. В своем примере с «квусом» он апеллирует к примитивным племенам, которым не имело смысла складывать бесконечно большие числа. Но ведь и мы своей концепцией «нулевого роста», кажется, ограничиваем безграничные возможности научно-технического прогресса. Так же, как дикари, пишущие «равно 5», когда результат сложения переходит разумные пределы, мы сегодня склоняемся к ограничению, и этот «квус» мы не расцениваем как нарушение законов арифметики. Просто бессмысленно спрашивать о том, какое же из возможных арифметических правил на самом деле правильно, ибо ответ на него дает «форма жизни».

Современные исследователи квалифицируют подход Витгенштейна как социокультурный. Основанием «прочных значений» выступает согласие людей, общественные конвенции и нормы. Оригинальность подхода Витгенштейна в том, что он разрушает привычную схему о первичности «идеи», выступающей «структурой и планом» поведения. Следование правилу Витгенштейн сравнивает с выполнением приказа. Суть последнего в том, что приказы не обсуждают, а выполняют. И люди обучены этому (военная служба!). По отношению к правилам игры и приказам неуместны рефлексия, сомнение и другие интенциональные переживания. Значит ли это, что теория речевых актов связана со «следованием правилу», что антигерменевтично, ибо не предполагает никаких переживаний.

Более того, «следование правилу» хотя и не исключает индивидуальности на уровне исполнения, однако предполагает вопрос о правомерности разного исполнения правила или приказа. Витгенштейн⁶ отмечает, что «совместное поведение людей» является референтной системой для интерпретации незнакомого языка. О языке можно говорить тогда, когда есть приказы, сообщения и т. п. Их мы понимаем не путем определения, а с помощью примеров и практики. Далее Витгенштейн реконструирует примеры того, как мы обучаемся восприятию, например, одинаковых цветов: один показывает, другой подражает, и здесь нет ни тавтологии, ни логического круга. Витгенштейн ставит вопрос: неужели это все? Неужели нет чего-то более глубокого? Но тогда

⁵ См. Сокулер З. А. Проблема «следования правилу» в философии Людвиг Витгенштейна и ее значение для современной философии математики // *Философские идеи Людвиг Витгенштейна*. М., 1996.

⁶ Витгенштейн Л. *Философские исследования* // Витгенштейн Л. *Философские работы*. Ч. I. М., 1994. С. 206.

исчерпаны ответы на вопросы «почему»; в конце концов остается сказать: «Вот так я и действую», т. е. просто следую правилу⁷.

«Повинуясь правилу, я не выбираю. Правилу я следую слепо»⁸. Правило, указывал Витгенштейн, ничего нового не говорит нам, и мы не должны к нему с напряжением прислушиваться. «Оно всегда говорит одно и то же»⁹. Правило должно быть само собой разумеющимся. «Следование правилу» — некая практика. *Полагать* же, что следуешь правилу, не значит следовать правилу¹⁰. Витгенштейн пишет, что невозможно «следовать правилу» приватно, иначе думать, что следуешь правилу, и следовать правилу было бы одним и тем же. Есть соблазн истолковать «следование правилу» в духе Делезова «повторения», которое является индивидуальным повторением одного и того же. То, что имели в виду Кьеркегор и Ницше, видимо, близко к человеческой судьбе или жизненной доле человека. Мы рождаемся, вырастаем и делаем примерно то, что делали наши родители, даже если мы переживаем по отношению к ним острый конфликт.

При сравнении гадамеровского описания того, как традиция исполняется нами, и витгенштейновской «дрессуры» становится ясным отличие, и оно достаточно принципиально. Водоразделом оказывается отношение того и другого к «ментальным процессам». Если у Гадамера то, что повторяется, составляет суть дела, открывающуюся в экзистенциальном опыте *Dasein*, то у Витгенштейна нормы, т. е. то, что должно быть исполнено самостоятельно, до или помимо повторения, не существуют. Феноменологическое наследие заставляет Гадамера предполагать некую умозрительную сущность, которую он как последователь Хайдеггера предлагает «схватывать» не при помощи «эйдетической интуиции», а благодаря экзистенциальному опыту, который он понимает как открытость мира и человека друг другу. Витгенштейн же чем-то напоминает А. Платонова, который в отличие от Толстого и Достоевского не прибегал к описанию внутренних переживаний человека, а описывал его как силу, взаимодействующую или противодействующую другим силам природы.

После М. Фуко можно по-новому прочитать характеристику правила как института и формы жизни у Витгенштейна. Суть такого прочтения будет состоять в том, что общество определяет,

⁷ Там же. С. 217.

⁸ Там же. С. 219.

⁹ Там же. С. 223.

¹⁰ Там же. С. 202.

что считать правильным или неправильным. Конечно, в этом тоже есть свой парадокс, точнее, как бы сказал Н. Луман, «тавтология». Суть дела состоит в том, что общество само прибегает к процедуре обоснования, или легитимации, и поэтому возникает впечатление, что оно нуждается в объективной истине, так как это необходимо для его выживания. Поэтому политики опираются в своих решениях на экспертные рекомендации специалистов. В «Порядке дискурса» Фуко показывает неразрывную связь языка и социума. Истина не побеждает, если ей не помогают огнем или мечом. Но и юридические, и карательные органы не чужды поисков истины.

Прочтение Фуко, чрезвычайно полезное особенно для понимания работы «О достоверности», все-таки не будет ни вполне аутентичным, ни достаточно эвристичным для усвоения метода «Философских исследований». Там мысль Витгенштейна вращается вокруг соотношения правила и способа его применения. Чтобы вникнуть в важность этой темы, недостаточно оперировать примерами из философии математики, как это имеет место ванглюязычной интерпретации «Философских исследований», необходимо вспомнить Кьеркегора, Ницше и Делеза, которые критиковали идею закона и противопоставили ему повторение. Думается, что ход мысли Витгенштейна близок критическому умонастроению этих мыслителей. Суть закона состоит в том, что он считается абсолютным основанием, истиной и должен беспрекословно выполняться индивидами. При этом они подгоняются под закон в качестве его элементов или экземпляров. Экспериментатор прибегает к манипуляции разного рода факторами, определяющими реальный процесс: одни он элиминирует, а другие усиливает, а то и вовсе строит в качестве экземплификатов закона совершенно искусственные объекты. Конечно, нехорошо экспериментировать над людьми, но и в обществе существуют процедуры воспитания и наказания, которые направлены на производство индивидов, способных (а в идеале желающих) выполнять законы. Если закон безжалостен к человеку, то повторение, допускающее индивидуальный способ исполнения общего, оказывается более гуманным. Примерно такая же программа, хотя и лишенная экзистенциальных коннотаций, предлагается Витгенштейном.

Витгенштейн разделяет вербальное и остенсивное определение. Первое отсылает к другим словам, а второе как бы «задает» значение. Остенсивное определение состоит в том, что мы показываем карандаш и говорим: «Это называется „карандаш“». Таким образом, в отличие от предикации и атрибуции здесь речь идет об интерпретации значения знаков. То, что мы показываем

и предлагаем называть «карандашом», можно назвать и по-другому, как «круглое», «деревянное», «длинное» и т. п. При этом возникает вопрос о критерии интерпретации.

Необычность подхода Витгенштейна состоит в том, что он прибегает в качестве «критерия» интерпретации к неким нелингвистическим и тем не менее выраженным в языке актам, как приказание, обещание и т. п., т. е. к тому, что сегодня называют перформативами или речевыми действиями. Возможно, в них мы сталкиваемся с искомым синтезом дискурсивного и недискурсивного. Более того, благодаря их анализу мы замечаем, что акты сознания, описанные в феноменологии и герменевтике, например представления, воспоминания, фантазии, а также такие мотивы, как желание, или такие формы гегелевского «абсолютного действия», как труд, принуждение и иные формы признания, от этического до репрессивного, оказывают конституирующее воздействие на истину. «Смотри и верь», «слушай и повинуйся», «обещай и исполняй», «клянись и делай» и т. п. — все это такие формулы, в которых фиксируется связь того, что обычно разводится по разные стороны и считается несоединимым. Речевые и познавательные действия самым тесным образом связаны с иными жизненными практиками, и язык создавался вовсе не для обслуживания теоретических актов. Наоборот, последние благодаря своему выражению в языке обретают связь с решением внеэпистемических задач. Необычность философии Витгенштейна не в том, что он впервые заметил связь истины с трудом и властью, это весьма ярко выявил еще Ф. Ницше, а в том, что он использовал эту связь не для дискредитации языка и познания, а для их обоснования.

Итак, рациональное зерно тезиса о том, что язык является формой жизни, а не просто некой нейтральной знаковой формой для обслуживания автономной сферы истинных значений и абсолютных смыслов, состоит в том, что предложения выступают как действия. При этом они действуют, как бы минуя рефлексию и ментальные процессы. Именно этим вызваны провоцирующие вопросы типа: Что вы делаете или испытываете, когда говорите, что «думаете»? В своих примерах научения употреблению слов в повседневной практике Витгенштейн подчеркивает, что там отсутствуют процедуры доказательства или обоснования, как они описаны, отшлифованы в науке и применяются в школьном обучении. Философия и наука говорят, что ничего нельзя брать на веру, что все должно быть доказано или подтверждено фактами. Однако на практике научение подобно дрессировке животных и вовсе не сводится к исследованию. В работе «О достоверно-

сти» Витгенштейн показывает, что фундаментальные понятия и принципы, доказательством которых озабочена философия, в повседневной жизни понимаются не как представление неких сущностей, а как утверждения, недоказуемые научным способом и в то же время не подлежащие сомнению. «Меня зовут N», «это моя рука», «мир существовал задолго до моего рождения» и т. п. — все это такие недоказуемые достоверности, на которых держится все остальное. Они в чем-то подобны правилам игры, которые не обсуждаются теми, кто включился в соревнование. Сомнение в них автоматически ведет к исключению из сообщества. А поскольку вся наша жизнь представляет собой разнообразие весьма серьезных игр, отличающихся от развлекательных тем, что ставкой в них является нечто даже большее, чем жизнь, то становится понятной устойчивость такого рода достоверностей.

Но было бы неверно считать, что Витгенштейн отбрасывает философию перед лицом серьезных жизненных игр-практик. Даже в молодости, еще разделяя с другими позитивными философами веру в фундаментальность науки, не понимая, как возможны осмысленные этические или философские высказывания, он с уважением относился к попыткам других сказать что-либо философское или этическое и, более того, сам искал способ выражения непостижимого. И тем более в позднем периоде своего творчества, когда он открыл многообразие языковых игр, Витгенштейн говорил об их равноправии в том смысле, что каждая из них является по-своему осмысленной.

Есть еще одна причина сохранения философских игр, которая весьма значима в рамках концепции Витгенштейна. Дело в том, что в ней возникает вопрос об изменении правил. И хотя возможности воздействия философской рефлексии на утвердившиеся как формы жизни языковые практики не велики, тем не менее их нельзя сбрасывать со счетов. Общество всегда может легко избавиться от сомнения в устоях и тем более от инакомыслия. М. Фуко в своих работах, опираясь на Ницше, раскрыл «мистическую силу авторитета» истин. Они не побеждают, если им не помогают огнем или мечом, юриспруденцией с ее тюрьмами или психиатрией с ее больницами, наконец, масс-медиа с их идолом — общественным мнением. Более того, опора на истину в науке остается непонятной без учета дисциплинарных практик, на которых держится школа с ее системой признания, включающей процедуры экзаменов, защиты и присвоения ученых степеней и званий. В своих работах «Порядок дискурса» и «Что такое автор» он выявил целый ряд инстанций признания, которые обслуживаются «ученым-теоретиком» в науке и «автором-гением»

в искусстве. Сами эти фигуры и изрекаемые ими утверждения значимы в совершенно определенных условиях. Урок, который дал Фуко, состоит, на мой взгляд, в том, что мы, считающие себя свободными «постмодернистскими» философами, взойдя на кафедру, взявшись учить, продвигаясь по служебной лестнице в соответствующих институциональных структурах, вынуждены задавать вопросы и спрашивать, экзаменовать и ставить оценки, давать отзывы и писать рецензии, находить признание у коллег и прочих авторитетных органов. Наши собственные утверждения, наши отзывы и оценки других «истинны» настолько, насколько они признаны другими. Но это признание мало похоже на герменевтический диалог или дискуссии свободной общественности, в основе моделирования которых лежит свободный рынок и демократия. Притязание на знание «сути дела» определяется местом говорящего в общественной иерархии. Именно место заставляет нас говорить так, как, может быть, мы бы и не хотели.

Язык, жизнь, игра

Понимание языка как формы жизни представляется весьма перспективной программой, позволяющей объединить разнородные сферы культурной деятельности. Однако такой подход сам по себе — автоматически — ничего не решает. На самом деле он также не исключает возможной абсолютизации того или иного понимания жизни и, таким образом, может завести в прежние тупики. Сказанное подтверждается тем фактом, что понятие жизни по-разному разрабатывается аналитической философией, феноменологией, герменевтикой, экзистенциальной онтологией, теорией интеракции, психоанализом, теорией речевых актов и др. Тезис о языке как форме жизни является выражением умонастроения и ожидания вполне определенной эпохи, и их необходимо выявить, чтобы лучше понять смысл, который вкладывал в это выражение сам Витгенштейн и его последователи. Прежде всего, обращение к жизни характерно для немецкой философии начала XX в., в которой сформировались различные парадигмы «философии жизни» — биологическая, феноменологическая, экзистенциально-онтологическая и др. Не вызывает сомнений влияние, хотя и не прямое, на мировоззрение Витгенштейна социологического интеракционизма, прагматизма, педагогики и антропологии. Может быть, это поможет понять тот смысл, который он вкладывал в выражение «Язык — это форма жизни». Несомненно, его ядро определяется культурно-антропологическим, педагогическим и психиатрическим аспектами. Языковые

выражения Витгенштейн ставит в зависимость от поведения в тех или иных конкретных обстоятельствах: одно и то же слово в разных контекстах получает разное значение. Он не признает «чистого смысла», выражаемого метафизическими понятиями, и говорит о «семейном сходстве», или о «семьях» значений тех или иных слов и выражений. При этом Витгенштейн намеренно выбирает некоторые простейшие и даже примитивные ситуации употребления слов, которые он называет «языковыми играми».

1. Это могут быть примеры практического поведения, где слова типа «молоток», «кирпич» и др. отсылают не к сущностям и смыслам, а имеют характер распоряжений и приказов, означающих пригодность того или иного инструмента для выполнения конкретного действия. Сюда включаются простейшие процедуры научения, когда значения задаются не вербально, а остенсивно и тоже определяются приказами: «Поддай мне молоток», «Принеси мне пять красных яблок». И во всех этих случаях не возникает проблем, связанных с сущностью «молота», «числа» или значением «красного».

2. Научение детей языку в качестве своеобразной «дрессуры» описывается Витгенштейном с большим знанием дела, и здесь весьма пригодился его опыт работы в сельской школе. И со студентами он работал в той своеобразной манере, которая отличается аналитическим отношением к опыту обучения детей.

3. Витгенштейна интересуют и умственно отсталые люди, «безумие» которых весьма своеобразно. Если вспомнить фильм «Человек дождя», то неизвестно, кто из двух братьев «ненормален». Главное, на что указывал Витгенштейн при анализе подобных ситуаций: фиксации невротика — это не какие-то необычные, фантастические идеи, а присущие всем людям стремления, которые «нормальные» сдерживают и контролируют тем или иным способом. Опыт безумия говорит о «разуме» гораздо больше, чем прямые попытки философов определить его природу. Фуко имел в виду, что в отношении, т. е. в оценке безумия, лучше всего проявляется «чистый разум». Он считал опыт трансгрессии и субверсии в каком-то смысле более аутентичным, чем адаптация, и даже склонялся к определению безумия как некоего радикального протеста против репрессивной цивилизации. Витгенштейн, наоборот, считает, что безумие не столько отклонение, сколько абсолютизация нормы. Безумец — это ужасный педант, воплощение логической адской машины. Поэтому можно сказать: патология — это не сущность, а образ действия или стратегия.

4. Опыт примитивных людей. Витгенштейн читал работы по культурной антропологии, и его заметки к книге Д. Фрезера

свидетельствуют о критическом отношении к европоцентризму и сциентизму антропологов. Отчасти релятивистский подход свидетельствует о терпимости мыслителя к «чужому». Его примеры раскрывают трудности взаимопонимания и тем самым способствуют взаимному уважению.

Витгенштейн не был сторонником языковой революции и давно отказался от мысли заменить естественный язык идеальным. Он считал, что естественный язык в порядке. В помощи аналитика нуждаются специалисты, которые на базе естественного создают искусственные языки. Отсюда они неизбежно тянут за собой шлейф достоверностей, которые не доказуемы средствами искусственного языка. Если они остаются анонимными, то могут тормозить развитие теоретической языковой игры, и она впадает в стагнацию. Определение языка как формы жизни преследует цель не столько обоснования теории, как это имеет место в феноменологии, сколько ее изменения. Конечно, вопрос о новациях остался у Витгенштейна поставленным, но не решенным. Однако наиболее основательно проделанный им анализ прочности правил, которые поддерживаются не столько доказательством, сколько иными институциональными средствами, хорошо раскрывает механизм консервации значения. На страже его сохранения стоят и общественное мнение, и иные авторитетные учреждения, например психиатрия. Отрицание достоверностей оказывается не под силу даже самому радикальному скептику (тем более что любое теоретическое сомнение предполагает несомненное). Поэтому вместо лобового столкновения с правилом Витгенштейн предлагает изменение способа их применения. Любое правило применяется в зависимости от ситуации и ее понимания участниками взаимодействия. Вариации инвариантного, или применение правил, делает языковую игру открытой системой.

Позиция Витгенштейна воспринимается иногда как нечто среднее между бихевиоризмом и герменевтикой. Стремление соединить в понятие «осмысленного поведения» биологические и социальные модели поведения со смыслопониманием выражает характерную тенденцию современной социальной науки, которая также обращается к лингвистической парадигме.

П. Уинч в своей популярной работе «Идея социальной науки» указывает на то, что часто употребляемое Витгенштейном слово «дрессура» применительно к процессу научения языку не сводится к дрессировке животных. Действительно, в ряде примеров он указывает на отличие дрессировки попугая и научение языку ребенка. Однако это отличие состоит не в «доказательстве» и не в том, что человек действует на основе понимания смысла или

предварительного исследования истины. В повседневной жизни люди не ищут оснований, а опираются на правила. Их отличие состоит в том, что они умеют применять правила к новым случаям и действуют по формуле «и так далее». Хорошим примером является продолжение натурального ряда чисел. Само «правило» Витгенштейн понимает не как «формулу», а как процедуру повторения «того же самого» применительно к новой ситуации. Поведение дрессированной собаки, которая съедает сахар только по команде хозяина, похоже на правилосообразное, хотя у нее нет понимания долга. Оно является обусловленным по Павлову, который описал механизм формирования условных рефлексов. Человеческое поведение характеризуется не механическим, а осмысленным применением правил. Но эта «осмысленность» состоит не в рефлексии, а в умении повторять, т. е. применять правило к новым ситуациям. Отличие «условного рефлекса» от «правила» состоит в том, что последнее предполагает ошибку. Возникает вопрос: если мы используем понятие ошибки, то не означает ли это возвращение «истины» и «идеи», которые и сформировались для различения ошибочного и безошибочного? Не предполагает ли новая языковая игра то, что критикуется? Но понятие ошибки вовсе не предполагает обращение к понятиям «истина» и «логика». Например, в одном из своих парадоксов Кэрролл демонстрирует, что логика и истина сами опираются на умение применять правило. Нечто подобное показал и Ницше в своей «Генеалогии морали».

В рассказе Кэрролла Ахиллес и Черепаха обсуждают три пропозиции: А, В и Z, которые соотносятся таким образом, что Z следует логически из А и В. Черепаха просит Ахиллеса считать, что она принимает А и В, но в то же время она принимает истину гипотетической пропозиции (С): «Если А и В верны, то Z должно быть верно». Ахиллес просит Черепаху принять С, что она и делает. Записав С в тетрадь, Ахиллес говорит: «Если ты принимаешь А, В и С, то должна принять Z». Когда черепаха спрашивает, почему она должна, Ахиллес отвечает, что это логично. Черепаха соглашается с новой пропозицией D и снова просит ее записать. Торжествующий Ахиллес повторяет вывод, но Черепаха снова отказывается принять Z, хотя принимает А, В, С и D. Негодующий Ахиллес говорит, что это нелогично, Черепаха соглашается, но просит это записать. Так может длиться бесконечно. Мораль данного парадокса такова, что само понятие логического правила является не готовой формулой вывода, а процедурой его применения. Обучение логическому выводу — это не просто понимание логических отношений между высказываниями,

а обучение делать что-то. Применение правила предполагает идею ошибки, которую Витгенштейн трактует как верное или неверное применение правил. Ученик не просто копирует учителя, а научается получать новое на основе правил, и при этом он должен усвоить, какие продолжения применения правил верны, а какие ошибочны. На этом основании герменевтика настаивает на синтезе рефлексии и традиции. Сами по себе чистые идеи не обеспечивают действия (ситуация Гамлета). Но кроме «волевой решимости» необходимы навык, умение и традиция как способность повторения.

Если считалось, что суть чистой теории в отрыве от практических интересов, то поздний Витгенштейн, как и ранний Хайдеггер, возвращает теоретизирование на почву жизни. Это возвращение оказывается двойным. Во-первых, указывается на нерелексивные основания внутри самой теории; во-вторых, указывается на необходимость уяснения практического употребления первоначального значения знаков, из которых были образованы теоретические знаки, т. е. такие, чье значение задается либо через внутрисистемные связи (логика), либо на основании связи с идеальными или эмпирическими (которые тоже оказываются идеализированными) объектами теории.

Деконструируя «значение», Витгенштейн не мог от него отказаться. Значение он определяет как употребление знаков, полагая при этом, что главным является — не думать об идеальном, общем, абстрактном понятии как об означаемом, а использовать знаки как руководство, указание к тому или иному практическому (и познавательному) действию. Суть его концепции не в прагматизме или инструментализме. Анализ значения опирается на простые языковые игры, которые «завязаны» на практические ситуации. Благодаря этому значение знака становится «понятным». Другим важным следствием его концепции является то, что «думать» (именно это связывают с употреблением знаков) можно и рукой, например, когда работают или пишут. Конкретность «органа», который руководствуется знаками, зависит от ситуации. Важно иметь в виду, что способы употребления знака не вытекают из «понятия», а, наоборот, наши понятия являются обобщениями разнообразных употреблений одних и тех же знаков. Витгенштейн указывал на опасность поспешных обобщений, которую он пытается снять своей теорией «фамильных сходств». Она не сводится к выявлению жизненно-практического основания понятий, а направлена на преодоление самих «прочных оснований».

Суть предложения Витгенштейна состоит в том, что он раскрывает простую языковую игру, на основании которой мы

мыслим соотношение знака и значения. Знак мы мыслим как материальное, а значение — как идеальное. Иногда их различие задается как соотношение формального (знакового) и содержательного (понятийного) аспектов языка. В любом случае предполагается, что значение знака «оживает» в результате специальной ментальной процедуры, которую называют по-разному: «думать», «понимать», «интерпретировать» и т. п. Человек как «символическое животное» все время размышляет, рефлексивует, думает, сомневается. Витгенштейн не отрицает отличия человека от животного, и его теория значения не является бихевиористской. Он заставляет задуматься над тем, насколько эффективна «ментальная» теория значения. И ее недостаток может быть охарактеризован как «гамлетовский». Сфера духовного характеризуется как идеальное основание жизненного мира. Бесстрастные мудрецы открывают чистые истины и дарят их людям. Но желаемого освобождения не происходит потому, что теории сами базируются на жизненно-практических достоверностях и, таким образом, содержат вирусы всех болезней земного мира. Конечно, Витгенштейн не уделял слишком много места установкам знания на власть над людьми и на покорение природы, но, говоря о непроясненных теоретических понятиях, он имел в виду и эти опасные установки. Витгенштейн исходит из того, что мир теоретических значений «придуман», он оторван от реалий и поэтому нуждается в специальном контроле. Наука и научная философия озабочены методом и поиском процедур доказательства, обоснования и проверки своих принципов, но все они оказываются «беззубыми». Поэтому он предлагает новый метод анализа теоретических понятий, основанный на реконструкции их генеалогии из простых языковых игр, в которых значение знаков задается практически.

1. Выяснить, как функционируют знаки в человеческом поведении, прежде чем ставить метафизические вопросы об их чистом смысле или значении. Иногда возникает впечатление о его полном отказе от обсуждения такого рода вопросов. Так, он советует «не думать о понимании», а вместо интерпретации предлагает метод реконструкции языковых игр. В его методе есть нечто общее с деконструкцией. Он тоже ищет исток, но это не исток смысла, как у Гуссерля и Хайдеггера. Истоком оказываются простейшие модели — языковые игры, в которых поведение и употребление знаков связаны воедино в своеобразную «форму жизни». Его критика метафизики оказывается более резкой, чем даже у Хайдеггера, и с полным основанием может называться деструкцией.

2. Но речь не идет о полном отрицании философии. Ее методом выступает моделирование «языковых игр». Так метафизика преодолевает самое себя. Тут тоже есть нечто общее с деконструкцией, которая иногда сравнивается с составлением «карты минных полей», т. е. указанием опасностей, таящихся в дискурсе остатков метафизических понятий. Витгенштейн также указывает на проблемы, вызываемые такими понятиями, как «сознание», «мышление», «понимание» и т. п. Однако он не отрицает все, выходящее за рамки простейших языковых игр. Даже в армии, где приказы не обсуждаются солдатами, есть начальство, которое должно «думать». В философии и иных высоких сферах культуры проблемы возникают оттого, что мыслители недостаточно изобретательны. Они часто используют в качестве аналогий и метафор простые понятия обыденного языка, значение которых всем «понятно», ибо они либо выступают правилами игры, либо такими знаками, которые употребляются и контролируются деятельностью. Витгенштейн советует сопоставлять метафизические понятия с их употреблением в простых языковых играх. И метафизика может преодолевать себя, менять собственное самопонимание, а также критиковать другие сложные формы употребления языка. Например, философия математики, психологические, эстетические, культурантропологические исследования Витгенштейна состоят в том, чтобы указать на ошибочное использование понятий «число», «сознание», «ценность» и т. п. Речь идет о том, чтобы вернуться к истокам, т. е. смоделировать простые языковые игры, в которых понятным образом используются и применяются эти понятия. Но результат получается не очень ясный. Во-первых, простые и сложные игры могут оказаться принципиально разными, и этот вывод чаще всего приходит в голову при чтении наиболее критичных размышлений Витгенштейна о природе философских проблем. Во-вторых, игры и используемые в них знаки могут образовывать семейные кланы с разветвленной системой родственных связей и, главное, с наличием общих генетических признаков. Эта весьма плодотворная идея, руководствуясь которой можно корректировать сложные игры простыми.

Метафизика и наука не отрицают отдельного, но ищут в нем общее — закон. Эта основная идея научного метода довлеет над философией и оказывается одним из главных источников затруднений. Метод поиска семейных сходств направлен против универсализации закона — понятия, неясного по происхождению и по способам применения. Закон по-разному осуществляется в науке, праве, социальной жизни, в морали и т. п. Например,

в естествознании законы в чистом виде применяются к идеальным объектам, а когда речь идет об их применении, то они обрастают разного рода «поправочными коэффициентами». Но и в юриспруденции принимаются во внимание разного рода смягчающие или отягощающие вину обстоятельства. А как понимаются метафизические законы? Как обобщение всех возможных? Но это будет понятие-монстр. Поэтому задача философии заключается не в обобщении, а в выявлении фамильного родства. Возможно, тут речь идет о чем-то похожем на повторение Кьеркегора и Ницше.

3. Идея языковых игр парадоксальным образом если не укрепляет сама, то раскрывает действительные «основания» философии. Ими выступают правила игры в философию, которые разворачиваются на институциональном уровне. Они осваиваются в процессе обучения на философском факультете, куда студент приходит с «пониманием» важности этой дисциплины. Однако вскоре он убеждается, что профессора не говорят как раз о самом важном. Нечто подобное описал Кун в «Структуре научных революций», где он вспоминает о своих студенческих годах, которые он характеризует как время «натаскивания» на решение головоломок. Далее речь идет о защите диплома, подготовке диссертации, остепенении и т. п. Все это выступает в качестве оснований, которые всем очевидны. О них не говорят потому, что эти «правила» недоказуемы и в царстве чистой мысли не сказано, что философ — это профессор и доктор. Кроме того, эти правила определяют, так сказать, форму, но не содержание. Профессора могут придерживаться самых разных взглядов, но оставаться корпоративными.

4. В наследство от Витгенштейна остается непростая проблема о соотношении рефлексивного и нерефлексивного. Обычно больше всего беспокоит их конфликт. В основании любой науки, даже такой строгой, как математика, есть недоказуемое (докажите, что надо доказывать). Но Витгенштейн стремился снять беспокойство, подобное тому, что испытывал Фреге от неудач строгого определения «числа». Вроде бы можно понимать органично рефлексивное и дорефлексивное. Концепция «язык — это форма жизни» и есть их синтез. Однако присутствие нерефлексивного в самой рефлексии оказывается беспокоящим. Ведь неосознанное — это все равно, что отсутствующее. Кажется, что Витгенштейну, всю жизнь озабоченному «невыразимым» (даже в «Трактате» есть то, о чем сказано, и то, о чем не сказано, ибо оно не выговаривается научно — «этическое»), наконец удалось найти способ уловить в сети языка невыразимое. Правило — это

то, что далее не обосновывается. В него упираются как лбом в стену. Как недоказуемое, оно непонятно и бессмысленно. При этом оно выступает условием рефлексии, как недоказуемое служит «основанием» доказательства, а несомненное выступает условием сомнения.

Итак, «правила» нерефлексивны. Но Витгенштейн находит способ установления их «смысла», находит «критерий», их контролирующий. Ведь если правила безосновны, т. е. они не записаны на небесах, а учреждаются актом силы и предполагают признание, то что может помешать появлению самых разнообразных и даже нелепых правил. Сегодня мы признаем культурное многообразие. Но есть пределы, которые «открытое общество» не может позволить переступить. С одной стороны, каждая культура — это комплекс своеобразных правил, к которым следует относиться с уважением. Есть разные языковые игры (грамматики культуры), и ни одна из них не является привилегированной. С другой стороны, развитые страны стремятся сформулировать и заставить признать в качестве общеобязательных «права человека» и другие принципы. Не является ли это новой формой господства?

Ответ Витгенштейна состоит в том, что «осмысленной» и эффективной является такая языковая игра, которая приносит практическую пользу. Другое дело, что само понятие практики оказывается недостаточно осмысленным. Тут тоже работает принцип «семейных сходств». Понимая языковую игру как практику и институт как форму жизни, Витгенштейн не ограничивается примитивными народами и детскими играми, которые на самом деле являются очень важными, ибо закладывают понимание «невыразимого». Можно говорить о постепенно усложняющейся системе игр. Ведь и животные используют знаки, но только человек придает им значение и действует осмысленно. Витгенштейн не был «новым архаиком» и не отрицал «высокие игры». Его предложение состояло в том, чтобы прояснить их генеалогию, а также раскрыть их практический смысл. Игра с понятиями не должна оставаться «игрой в бисер», а должна быть «формой жизни».

В «Голубой книге» понятие жизни применительно к языку выглядит достаточно проработанным и определенным. Это не метафора. Хотя Витгенштейн специально не исследует понятие жизни и не направляет свой скепсис относительно поисков «смысла жизни», тем не менее то, что он писал относительно «жизни языка» и критиковал при этом феноменологическую программу, согласно которой жизнь языку придают переживания,

позволяет сказать, что «жизнь» у Витгенштейна не аналогична ни биологической, ни духовной установкам. Он спрашивает, как выполняется распоряжение принести от зеленщика шесть яблок. Для выполнения этого распоряжения необходимы ли способности «переживать», «понимать», «интерпретировать» и вообще «думать»? Витгенштейн приводит простую модель языковой игры, в которой зеленщик получает сообщение и сравнивает слова «шесть яблок» с образцами яблок на разных полках, а затем выбирает шесть штук. Под «языковыми играми» Витгенштейн понимает «формы языка, при помощи которых ребенок начинает осваивать употребление определенных слов»¹¹. Исследование языковых игр он определяет как исследование примитивных форм языка: «Если мы хотим изучать проблемы истины или лжи, согласованности и несогласованности высказываний с действительностью, проблемы природы утверждения, восклицания и вопроса, мы будем с огромным вниманием наблюдать за примитивными формами речевой деятельности, в которых эти формы мышления появляются в чистом виде, не смешанные с основаниями высокоусложненных процессов мышления. Когда мы наблюдаем за такими простыми формами языка, то ментальный туман, который, кажется, все время обволакивает обыденное употребление языка, исчезает. Мы видим действия и реакции, которые являются четкими и прозрачными. С другой стороны, мы узнаем в этих простых процессах формы языка, не разделенные барьером более сложных дифференциации. Мы видим, что можем построить сложные формы из примитивных посредством постепенного наращивания новых форм»¹².

Достоверность

Работа «О достоверности» навеяна ставшими анекдотическими возражениями Мура против скептицизма: «Мир существовал задолго до моего рождения», «это моя рука» и т. п. Обо всем этом можно с уверенностью сказать: я знаю, имея в виду истинность таких высказываний. Суть подхода Витгенштейна к такого рода утверждениям состоит в том, что они являются не истинными, т. е. доказуемыми или очевидными, а достоверными в смысле их несомненности. Если их подвергнуть сомнению, то рухнет и все остальное. Витгенштейн писал, что наши сомнения и вопросы возможны, если есть несомненное. «Игра в сомнение

¹¹ Витгенштейн Л. Голубая книга. М., 1999. С. 32.

¹² Там же. С. 33.

уже предполагает уверенность»¹³. Оригинальность концепции состоит и в критике эмпирического обоснования «базисных» высказываний (они не являются непосредственными констатациями объективных положений дел), и в новом понимании их как правил, которые легитимируют сами себя. В этой работе развивается концепция следования правилу и понимание языка как формы жизни. При этом было бы неправильно считать, что в этой работе усилился «социологизм» Витгенштейна, хотя в ней встречается много культурантропологических примеров. Витгенштейн высказывает мысль, которую позднее разработал М. Фуко: сомнение в достоверностях квалифицируется не как гносеологическая ошибка, а как психическое заболевание. Если бы мы высказывали сомнение в существовании внешнего мира на улице, то на нас бы смотрели как на сумасшедших. Отсюда можно сделать вывод, что достоверности устанавливаются обществом, которое не добывает их путем исследования и не доказывает, а формулирует их как основу порядка.

Витгенштейна интересовали сами правила. Собственно, ими должны заниматься логика и философия. Но как и Фуко, в последние годы отказавшийся анализировать власть как сущность, Витгенштейн понимал природу правил иначе, чем в терминах смысла и сущности. Правила никто — ни философия, ни власть — заранее не устанавливает. Правило «возникает» и «существует» в процессе применения. Социология знания лишь меняет инстанцию истины, не меняя самого ее понимания. Согласно ей, истина устанавливается не гениальным ученым, а сообществом.

Итак, посвятив несколько страниц высказываниям Мура, которые направлены против скептицизма, Витгенштейн показывает недоказуемость его утверждений и вместе с тем признает, что они несомненны. Он высказывает предположение: «Нельзя ли утвердительное предложение, способное функционировать в качестве гипотезы, использовать и как принцип исследования и действия? Т. е. нельзя ли просто отвести от него сомнение, не прибегая к какому-то явно сформулированному правилу?»¹⁴.

Предложения, описывающие нашу картину мира, представляют своего рода мифологию. Они подобны игре, которая осваивается практически, а не путем зазубривания правил. Витгенштейн писал: «Можно было бы представить себе, что некоторые утверждения, имеющие форму эмпирических предложений,

¹³ Витгенштейн Л. О достоверности // Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. I. М., 1994. С. 115.

¹⁴ Там же. С. 87.

затвердели бы и функционировали как каналы для незастывших, текучих эмпирических предложений; и что это отношение со временем менялось бы, т. е. текучие предложения затвердевали бы, а застывшие становились текучими»¹⁵. Мифология может снова прийти в состояние непрерывного изменения. «Всякое испытание, всякое подтверждение и опровержение некоего предположения происходит уже внутри некоторой системы. И эта система не есть более или менее произвольный и сомнительный отправной пункт всех наших доказательств, но включена в самую суть того, что мы называем доказательством. Когда слепой спрашивает меня: „У тебя две руки?“, — то я не смотрю на свои руки и не проверяю свои глаза. Но разве не опыт учит нас судить таким образом?»¹⁶ Витгенштейн утверждает, что опыт ничего нам не говорит; если даже опыт есть основание несомненного, то у нас нет оснований считать его таковым. Опыт не является основанием нашей игры в суждения. *Судить* я научен с детства. Если мы положили в портфель две книги, а потом обнаружили в нем только одну, то этот опыт не опроверг бы нашей уверенности, что должно быть две книги. Высказывания Мура интересны тем, что никто в них не сомневается, и тем, что мы приходим к ним не в результате исследования. «Почему я не удостоверяюсь, прежде чем встать со стула, что обе мои ноги пока еще при мне? Никакие „почему“ тут неуместны. Я просто не делаю этого. Так уж я действую»¹⁷. Трудность состоит в том, чтобы принять безосновательность нашего верования, и в том, что далеко не все подлежит проверке. «Мур, — писал Витгенштейн, — не *знает* того, что, по его утверждению, он будто бы знает; но оно для него столь же несомненно, как и для меня; считать это твердо установленным свойственно *методу* нашего сомнения и исследования»¹⁸. При определенных обстоятельствах человек не может ошибаться, и сомнения тут неуместны (нельзя усомниться во всем, так как само сомнение окажется несомненным). «Чтобы ошибаться, — отмечал Витгенштейн, — человек уже должен судить согласно с человечеством»¹⁹. Поэтому если бы Мур или кто-то другой высказывал противоположные утверждения, то его бы приняли за душевнобольного.

Что значит, что истинность предложения достоверна? Есть субъективная достоверность — убежденность. Но что такое объ-

¹⁵ Там же. С. 96.

¹⁶ Там же. С. 130.

¹⁷ Там же. С. 148.

¹⁸ Там же. С. 151.

¹⁹ Там же. С. 156.

ективная достоверность? Конечно же, когда ошибка невозможна, логически исключена. Таким образом, достоверность, по Витгенштейну, не аналогична истинности. Истинное предложение доказывается или проверяется, для него есть аргументы «за» и «против». О достоверном нельзя сказать, что оно «соответствует фактам», является самоочевидным или обоснованным принципом. Обоснование и оправдание в конце концов приходят к концу, но это не открытие непосредственно истинных высказываний. «Конец» определяется не очевидностью, а действием. Детям на их бесконечные «почему» мы отвечаем: «Подрастешь, узнаешь». Обучение предполагает изначальность веры. «Ребенок приучается верить множеству вещей. [...] Мало-помалу оформляется система того, во что верят»²⁰. Ребенок сначала верит взрослым, сомнения наступают потом. Витгенштейн говорит о «твердом грунте» наших убеждений, но меняет обычное понимание соотношения фундамента и здания. Обычно считается, что здание науки покоится на фундаменте теоретических и эмпирических истин. На самом деле нет «фундаментальных истин», ибо сама истина предполагает нечто неистинное, но достоверное. Кроме того, это достоверное как «твердый грунт», не первично, а вторично. Может, эти понятия и не годятся и Витгенштейн использует метафору игры. Ее правила существуют заранее для тех, кто вступает в игру. Вместе с тем, когда игра создавалась, вряд ли ей предшествовало предварительное описание правил, скорее всего, процесс игры и кристаллизация правил протекали одновременно. Витгенштейн использует метафору русла и потока. Он пытается уйти от вопроса о том, что первично. Например, он писал о том, что «фундаментальные» понятия не являются и не должны быть точными. Эта их «размытость» открывает возможность варьирования игры и применения правил в новых условиях. Благодаря этому конкретному употреблению они уточняются.

Витгенштейн отмечал, что «языковая игра изменяется со временем», но как это происходит, не показал. Скорее, он столкнулся с жесткостью правил, хотя искал «открытые знаковые системы». В его примерах разные языковые игры оказываются несоизмеримыми: если бы, например, просвещенные атеисты пришли в храм и стали сомневаться в том, что вино и хлеб являются телом и кровью Бога, то их бы выставили из храма. Витгенштейн моделирует бесчисленное количество разнообразных форм сомнения и везде говорит о том, что инакомыслящих не опровергают,

²⁰ Там же. С. 144.

а, в лучшем случае, объявляют странными людьми. Прочитывая Витгенштейна после Фуко, трудно удержаться от утверждения, что и Витгенштейн настаивал на институальности правил. Однако неверно сбрасывать со счетов и опыт. Хотя достоверные высказывания нельзя путать с эмпирическими, вместе с тем они могут становиться таковыми. Во-первых, по своему происхождению: «Можно сказать, что опыт научил нас этим предложениям. Однако он научил нас не изолированным предложениям, но множеству взаимосвязанных предложений»²¹. Именно система языка не дает сомневаться в правилах. Во-вторых, все-таки несомненное и гипотетическое в некоторых ситуациях могут как бы меняться местами.

На определение истины потрачено немало усилий, но все ее варианты не могут освободиться от следов классической теории соответствия. Высказывание истинно, если его можно проверить, т. е. найти «за» или «против» и выбрать между ними. Даже если мы скажем, что истинным высказываниям ничего не соответствует во внешнем мире, мы допускаем их соответствие идеальным объектам. Непроясненным, таким образом, оказывается само понятие «соответствия». Оно «допредикативно», и Витгенштейн определяет его как соответствие правилам языковой игры, как свидетельство правильности, считающееся таковым только в ее рамках. Отсюда он делает вывод: «Если истинно то, что обоснованно, то основание не является ни истинным, ни ложным»²².

Размышляя о природе оснований, Витгенштейн использует понятие достоверности, которое кажется ему более предпочтительным по сравнению с такими характеристиками высказываний, как «истинное», «очевидное», «эмпирическое», «логическое» и т. п. Достоверные высказывания, строго говоря, не являются знанием. Поэтому неверны или, точнее, не универсальны высказывания по формуле: «Я знаю, что...». Эта форма часто неуместна. Анализируя примеры Мура, Витгенштейн указывает, что высказывание «Я знаю, что это моя рука» уместно разве что при разговоре со слепым или с врачом, которого вы хотите предупредить, что он собирается резать не муляж, а именно вашу руку и что от этого будет больно. Высказывания Мура настолько очевидны, что кажутся неуместными. Однако за банальностью Витгенштейн разглядел весьма важные их функции. Прежде всего опасность, пристекающую от сомнения. Если я буду сомневаться в существовании внешнего мира, своего Я или в правилах арифметики

²¹ Там же. С. 274.

²² Там же. С. 205.

и т. п., то рухнет все остальное. Эти достоверности образуют правила языковой игры, которая является самой жизнью. Они настолько фундаментальны, что как бы охраняются от сомнения и проверки. Они не являются предметом исследования. Метафизика претендовала на высшие понятия и на управление миром. Однако «самое важное» — незаметно; оно не в небе, а под ногами. Это достоверности повседневного жизненного мира, и отвечают за них не философы, а педагоги, юристы, психиатры. Витгенштейн хотел тем самым раскрыть глаза на тот факт, что необходимо разрабатывать принципиально новые, не опирающиеся на теорию истины процедуры анализа языка. Это был важный импульс к разработке «порядка дискурса» у М. Фуко.

Философия как прояснение языковых затруднений

Метафизика в теории значения проявляется в том, что в качестве критерия выбирается истина. Так обнаруживается тупик теории значения. Ведь обращение к нему было вызвано трудностями теории соответствия. Налицо элементарный логический круг: проблему истины намеревались решить путем обсуждения проблемы значения, но при этом снова пришлось прибегнуть к понятию истины. Витгенштейн предпринимает обходной маневр и предлагает заняться другим вопросом: «как мы объясняем значение слова» в надежде на то, что это поможет ответить на первый. Вопрос, как мы объясняем «значение», как бы опускает нас с неба на землю и помогает нам объяснить метафизический смысл посредством анализа грамматики слова «значение». Философы ставят смелый вопрос: что такое значение слова? Однако он вызывает у искушенного человека, как говорит Витгенштейн, «ментальную судорогу». Вопросы: что такое число, что такое время, что такое значение и др. являются причинами глубоко замешательства. Таким образом, смелые вопросы, которые считаются философскими, удел профанов или молодых людей, вступающих на путь жизни, наконец, пенсионеров, получивших свободное время для размышлений о бренности жизни.

Профессионалы знают, что на самые важные вопросы нельзя дать никакого внятного ответа и поэтому избегают их. В свое время этим оппортунизмом шумно возмущался Л. Шестов. Витгенштейн писал: «Нами владеет иллюзия будто своеобразное, глубокое, существенное в нашем исследовании заключено в стремлении постичь ни с чем не сравнимую сущность языка, т. е. понять порядок соотношения понятий: предложение, слово, умозаключение, истина, опыт и т. д. Этот порядок есть как бы *сверх-порядок сверх-*по-

нятий. А между тем, если слова „язык”, „опыт”, „мир” находят применение, оно должно быть столь же непритязательным, как и использование слов „стол”, „лампа”, „дверь”²³. Витгенштейн писал: «Надлежит оставаться в сфере предметов повседневного мышления, а не сбиваться с пути, воображая, будто требуется описать более тонкие вещи, не имея в распоряжении средств для такого описания. Нам как бы выпадает задача восстановить разорванную паутину с помощью собственных пальцев»²⁴. Метафизика «выси» не способствует движению, условием которого является трение и сопротивление. Нужна почва. Поэтому «философией» Витгенштейн называет то, что возможно до всех новых открытий и изобретений. Философские тезисы, по мнению Витгенштейна, не должны вызывать никаких дискуссий. Но как раз их описание связано с большими трудностями. Скрытыми от понимания, так сказать невидимыми, являются не только сущности, помещаемые в глубину или на высоту. Мы чаще всего не видим и того, что под руками. «Наиболее важные для нас аспекты вещей скрыты из-за своей простоты и повседневности»²⁵. Отсюда возникает задача моделирования простых языковых игр, которые проливают свет на возможности нашего языка.

Витгенштейн предлагает анализировать значение слов по аналогии с шахматными фигурами. При этом речь идет не о Реформе языка, а о выявлении правил его работы, которым подчиняется говорящий. В «Голубой книге» Витгенштейн начинает свои размышления с вопроса о ментальных процессах, которые сопутствуют употреблению языка, и приходит к выводу, что значение знака состоит в его употреблении: «Кажется, что существуют *вполне определенные* ментальные процессы, граничащие с работой языка. Процессы, которые могут функционировать лишь при посредстве языка. Я имею в виду процессы понимания и понимания. Знаки нашего языка кажутся мертвыми без этих ментальных процессов; и может показаться, что единственная функция языка состоит в том, чтобы индуцировать подобные процессы, и что это есть именно то, что должно вызвать наш интерес»²⁶. Вместе с тем Витгенштейна пугает то «окультиное», что присутствует в нашем понимании сознания, которое должно оживлять, одухотворять материальное. Его беспокоит также

²³ Витгенштейн Л. Философские исследования // Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. I. М., 1994. С. 97.

²⁴ Там же. С. 106.

²⁵ Там же. С. 128.

²⁶ Витгенштейн Л. Голубая книга. М., 1999. С. 11.

«бессилие» сознания, и он иронически вопрошает о «намерениях, которые никогда не исполнились». Он приходит к выводу, что «есть, по крайней мере, один способ избежать оккультных феноменов в процессе мышления, и он заключается в том, чтобы заменить в этих процессах какую бы то ни было работу воображения действием смотрения на реальные объекты»²⁷. Механизмам ассоциации и воображения Витгенштейн противопоставляет некоторую «таблицу» образцов — например, цвета. Что касается «добавки», которая привносится в материю знаков, то Витгенштейн писал: «Если бы мы должны были назвать нечто, что является жизнью знака, мы должны были бы сказать, что это его употребление»²⁸. При этом он предостерегает мыслить «употребление», как будто оно является объектом, сосуществующим со знаком. Знак (предложение) получает значимость из системы знаков, из языка, к которому он принадлежит. Предложение «получает жизнь» как часть системы языка. Даже если мы примысливаем нечто «оккультное» — это всего лишь другой знак.

Витгенштейн считает ошибочным допущение особого медиума сознания, который сопутствует употреблению знаков и дает им жизнь. Он не собирается отрицать понятие сознания, но указывает на непродуманность аналогии, посредством которой мы его вводим, и непритязательность, с какой мы ее принимаем, в частности, на неприменимость обычных пространственных локализаций вещей к сознанию.

Витгенштейна нельзя считать редуccionистом, так как он протестует против поспешных обобщений, которые вызваны следующим:

а) стремлением искать нечто общее во всех сущностях; так, например, пытаются определить «игру» как общий термин, выражающий нечто общее во всех играх, тогда как игры образуют семью, члены которой имеют семантические сходства;

б) тенденцией думать, что человек, который научился понимать общий термин, скажем, слово «лист», тем самым пришел к обладанию общей картины листа, в противоположность картинам конкретных листьев; мы склонны думать, «общая идея листа» есть нечто подобное визуальному образу, содержащему то общее, что характерно для всех листьев, что этот образ или мысль соответствует значению слова;

в) ментальными состояниями, отождествляемыми с психическими — такими как, например, зубная боль;

²⁷ Там же. С. 12.

²⁸ Там же. С. 13.

г) стремлением редуцировать объяснение природных явлений к наименьшему возможному числу примитивных естественнонаучных законов.

Витгенштейн писал: «Философия, как мы употребляем это слово, есть борьба против очарования выражениями, оказывающими давление на нас... Философы чрезвычайно часто говорят об исследовании, об анализе значения слова. Но не будем забывать, что слово не приобретает значения, данного ему как будто бы некоей силой, независимой от нас... Слово имеет то значение, которое дал ему человек»²⁹. Существуют слова с ясно определенными значениями и слова, употребляемые тысячей различных способов, которые градуально переходят одно в другое. «Неверно думать, что в философии мы рассматриваем идеальный язык в противоположность обыденному языку»³⁰. Это предполагало бы «лечение» обыденного языка, но с ним-то как раз все в порядке. Витгенштейн характеризует философский метод как сопротивление эффекту аналогий, мы часто не замечаем, как аналогия начинает заводить в тупик. Он отмечает великое множество философских трудностей, вызванных выражениями «хотеть», «думать» и т. д., которые суммируются в одном предложении:

«Как кто-то может подумать о том, чего еще нет?». Это прекрасный пример философского вопроса, ибо он показывает, что проблема не в нашей неспособности представить, как протекает мышление, а в заводящей в тупик форме выражения.

Анализируя вопрос, что такое смысл, мы полагаем, что делаем его неким «теневым существом», которое мы создаем, когда хотим придать значение существительным, которым не соответствуют материальные объекты. Другой способ: представление «тени» как картины, у которой нельзя спросить о ее намерении, т. е. как картину, которую мы не можем интерпретировать, чтобы понять ее, и которую мы тем не менее понимаем без всякой интерпретации. «Значение» — одно из тех слов, о которых можно сказать, что они добавляют работу нашему языку. Это именно одно из таких слов, которое является причиной большинства философских затруднений. Представим себе некоторое учреждение: с одной стороны, большинство его сотрудников имеют определенные регулярные функции, которые с легкостью могут быть описаны, скажем, в уставе учреждения. Но, с другой стороны, есть несколько сотрудников, которые работают на дополнительной работе и которая тем не менее может быть невероятно

²⁹ Там же. С. 50.

³⁰ Там же. С. 51.

важной. Если что и обуславливает большинство неприятностей в философии, так это то, что мы стремимся описывать употребление важных слов («дополнительной работы»), как если бы они были словами, имеющими регулярные функции. «Самое трудное в философии, — указывал Витгенштейн, — сказать не больше того, что мы знаем»³¹.

Витгенштейн говорил о том, что «не существует здравомыслящих ответов на философские вопросы»³². Однако он вовсе не отрицал их права на существование. Он сопоставляет философию и здравый смысл, язык философии с естественным языком. Это сравнение не в пользу философии, ибо в естественном языке значение слов связано с их употреблением на практике. Именно естественный язык является формой жизни. Витгенштейн говорит о том, что философские проблемы часто возникают из-за имитации философией естественного языка. Философию он «вылечивает» тем, что сопоставляет ее со здравым смыслом, но после такого сопоставления он уже не может оставаться на позиции здравого смысла.

Необходимо различать грамматики философского и обыденного языков. Солипсиста легко объявить сумасшедшим или, как это делает Витгенштейн, поймать на самопротиворечии. Дело в том, что в утверждении: «Мир — это мое представление» уже предполагаются другие, и тем самым позиция солипсиста оказывается производной и дополнительной к позиции реалиста. Но Витгенштейн пытается не только опровергать философские проблемы, но понять их действительный смысл. Ведь он считает свою деятельность по прояснению языка философской. Прежде всего он отмечает, что философское истолкование мира является другим по отношению к обыденному и научному способам описания мира. Философ похож на человека, который «чувствует стремление, скажем, употребить слово “Девоншир” не применительно к графству с его условными границами, но применительно к области, где границы расставлены совершенно по-другому»³³, и при этом утверждает, что открыл «подлинный Девоншир». Далее Витгенштейн отмечает, что нельзя недооценивать изменение переописания (иногда оно «может изменить очень мало, а может иметь огромное значение»). Поэтому необходимо вдуматься в источник философских затруднений. Иногда они возникают вследствие ошибки, а иногда имеют эвристическое значение, ибо

³¹ Там же. С. 78.

³² Там же. С. 102.

³³ Там же. С. 99.

раскрывают границы обыденного языка. «Наш обыденный язык, который среди всех возможных систем записи является одной из тех, которая проходит через всю нашу жизнь, жестко держит наше сознание в одном положении, и в этом положении порой чувствуется судорожность и иные помехи. Так мы порой хотим такой системы означения, которая подчеркивала бы различия более строго, делала бы их более очевидными, чем это делает обыденный язык... Наша ментальная судорога ослабевает, когда нам показывают систему обозначений, которая удовлетворяет этим требованиям»³⁴. Если говорить о «ментальной судороге», то она для Витгенштейна является одним из немногих актов сознания, который допускается как форма «понимания». Но и оно не универсально, ибо сомнение приводит к несомненному, которое нельзя доказать. Доказательство так или иначе приводит к опыту признания.

Рассел, вспоминая о вопросах молодого Витгенштейна, в своей автобиографии пишет: Этот немецкий экс-инженер — дурак, ибо он сомневается в очевидном. Это нашло отражение в методе Витгенштейна, в котором учитывается опыт как ученичества, так и учительства. Он считал, что обучение включает доверие к тому, что считают правильным остальные. Витгенштейн писал о языковых играх и практиках, которые не ищут гарантий в метафизических понятиях. Их суть он определял как «следование правилу» и потратил немало усилий на то, чтобы показать его отличие от каких-либо ментальных процессов.

Философия — это не только «строгая», но и очень смелая наука. Вопросы, обсуждаемые в ней, имеют вовсе не запутанный, а непосредственно понятный характер: в чем смысл жизни, существовал ли мир задолго до моего рождения, что такое время, число, наконец, значение? Но беда в том, что на эти прямые и честные вопросы философы не могут дать прямых и честных ответов. И сегодня уже ясно, что причина не в том, что земля наша оскудела и не рождает гениев, хотя многие еще связывают свои надежды на лучшую жизнь с их появлением, а в несостоятельности самих вопросов. Поэтому сегодня говорят о кризисе самой философии, о том, что она является некоей интеллектуальной болезнью и, стало быть, философов надо не учить на примерах науки, а лечить. Правда, каковы будут последствия отказа от философских проблем, пока еще никто не просчитывал. Тем более важно отметить, что один из глубочайших критиков метафизики — Витгенштейн время от времени отмечал по ходу

³⁴ Там же. С. 103.

разоблачения и критики неправильного употребления языка философами, что он вовсе не отбрасывает возможности философствования, а только протестует против абсолютизации этой «языковой игры». В его понимании современные философы должны расцениваться так же, как представители экзотических культур, относительно языка и обычаев которых у нас есть проблемы понимания. Такой культурантропологический подход в принципе не вызывает возражений, однако все-таки философы претендуют на то, чтобы быть представителями, или, как говорил Гуссерль, «функционерами», человечества, и от этого, пожалуй, нельзя избавиться простой ссылкой на «добрую волю к власти», т. е. объяснять философию исключительно в терминах господства. Хотя нельзя сбрасывать со счетов репрессивные возможности самых гуманных поучений и наставлений и быть осторожными относительно философии, тем не менее было бы столь же неосмотрительно отбрасывать философию как попытку самовыражения человека. Можно запретить философию как академический институт и отменить ее обязательное преподавание, но это не приведет к изменению повседневного сознания, в котором философские темы и вопросы исчезали бы вопреки высокому признанию прошлой метафизики.

